

После первых родственных разговоров, Алеша выбежал во двор и сейчас же побежал в конюшню. Лошади были его страстью,—он хотел поздороваться с ними. В конюшне возился Панас. Попович слегка рассмотрел его.

— Ты—Фанаська?—спросил он прямо.

Панас не отрицал этого. Попович в это время гладил рукой лошадиные морды.

— Побежим в сад!—предложил он.

— А матушка? — несмело возразил Панас, которому давно хотелось побывать в саду.

— О, это ничего! Положись на меня!—авторитетно сказал попович.

Когда прибежали в сад, попович убедился, что нашел в Панасе превеселого товарища. Панас за все пребывание у матушки впервые почувствовал себя свободным. У него на руках не было никакого дела. Им овладел такой неистовый восторг, что он просто не находил себе места. Он прыгал, как дикая коза, кричал, свистал, говорил какие-то ничего не означающие слова, которые казались ему смешными, в роде «барлы-барды», и по поводу этих слов хохотал до упада. С ловкостью обезьяны он карабкался на деревья, срывал плоды, прятал в карманы и за пазуху, что не успевал съесть.

Когда вечером они вернулись домой, матушка, к большому изумлению Панаса, очень мало сердилась на него и даже не прикоснулась к его ушам и чубу.

Она только сказала, что не следовало так засиживаться. Это было сделано во внимание к тому, что попович перешел в высший класс, а может быть причина заключалась в том, что по случаю приезда Алеши родительское сердце матушки размягчилось. В самом деле, даже Сонька, которая, как все были уверены, создана для того, чтобы матушка могла чесать об нее свои руки,—даже она в этот день получила только одно прощенье в затылок, и совсем не плакала. Однако, Панас убедился, что вся работа, которая в этот день выпадала на его долю, так и осталась за ним: кони не были напоены; телята торчали в загоне и ждали, пока жестокосердый Панас отгонит их в «череду»; амбары не заперты,—словом, у него еще было довольно работы. В этот день он копался до полуночи, и только тогда, совершив все, что от него требовалось, лег спать и в ту же минуту захрапел, как самый отъявленный счастливец.

Как ни радостен был для Панаса приезд поповича, тем не менее тягота, которую он нес на своих плечах, нисколько не уменьшилась. Матушка никак не могла допустить нарушение раз установленных правил. От этого пострадал бы порядок в хозяйстве. Поэтому Панас подымался теперь гораздо раньше солнца, несмотря на то, что летнее солнце на юге отличается крайней деловитостью и подымается не позже четырех часов. Попович просыпался часов в

десять, когда Панас уже удовлетворил и телят, и коней, и кухарку Маланью,—словом исполнил все, что всегда исполнял утром,—и ожидал поповича во дворе. Попович был очень изобретателен по части игр, но самым капитальным его изобретением была игра в «лошадки», после которой Панас всегда оставался в проигрыше, так как лошадкой приходилось быть ему, попович же был наездником.

В один из летних дней были именины поповича, и батюшка подарил ему настоящее ружье, а матушка позволила Алеше брать с собой на охоту Панаса. В сущности иначе и быть не могло, потому что на охоте случаются такие затруднения, из которых Алеша едва ли вышел бы без помощи Панаса. Иначе говоря, в лице Панаса матушка дарила Алеше охотничью собаку.

В дни охоты они уходили из дому до восхода солнца, а возвращались только к вечеру. Тут уж матушка никак не могла заставить Панаса выполнить за вечер те работы, которые он мог бы выполнить за день. Это было невозможно, и Панас старался задержать Алешу подольше на охоте, чтобы это сделалось еще невозможнее. Напрасно матушка наказывала им возвращаться пораньше. Они с каждым разом больше и больше опаздывали. Кроме этой льготы, Панас находил еще одно удобство: матушка, влюбленная в своего Алешу, напихивала его «торбочку» самыми лучшими продуктами своей кухни. Тут были

и жареные цыплята, и пирожки с рисом, и яблоки, и сдобные коржики. Панас ничего подобного не ел на кухне, а попович, который вообще вел себя по-рыцарски, делал его равноправным участником своей трапезы. Через каждые полчаса они садились отдыхать на каком-нибудь стволе старого, повалившегося дерева и, так как оба отличались хорошим аппетитом, непременно открывали благодетельную «торбочку» и уплетали ее вкусное содержимое, поминая матушку добрыми словами. Благодаря всем этим обстоятельствам, Панас сделался страстным охотником, постоянно звал Алешу на охоту и предпочитал ее даже такому приятному занятию, как «игра в лошадки».

VII.

Панас дурно влияет на поповича.

Мальчики провели вместе уже больше месяца и не могли представить себе того момента, когда их разлучат.

Паныч часто рассказывал Панасу о городской жизни, которая, несмотря на его скромный возраст, была ему, повидимому, довольно хорошо знакома. Он в точности описывал, что делается на бульваре, и обнаруживал большие сведения по части гимназисток младших классов. Панаса особенно удивляли те места Алешиных повествований, когда он употреблял выражения приблизительно такого рода: «Эта была влюб-

дена в меня и даже однажды прислала мне записочку с конфеткой... Я сказал ей, что она — дура». Или: «Когда я прохожу мимо женской гимназии, на меня весь третий класс смотрит... Одна сказала мне, что я — душка!.. Ха-ха! А я ответил, что она — дура!» Или, наконец, в таком роде: «За этой я уже целый год ухаживаю!». Такого рода похождения у Алеши было так много, что Панас совершенно серьезно спросил:

— А вы еще ни разу не женились?

На это Алеша залился бешеным хохотом и отечески объяснил Панасу, что жениться можно только один раз, и что для этого нужно быть большим и иметь усы.

Однажды попович, узнав, что Панас не умеет читать, был поражен его невежеством и решил научить его грамоте. Уроки происходили в конюшне, где Панас познал первую сладость складов. Нельзя сказать, чтобы он очень быстро воспринял науку, тем не менее он уже готовился от складов перейти к гладкому чтению, как вдруг однажды, во время урока, в аудиторию вошла матушка.

— Это что такое?— удивилась она.

Алеша объяснил, что Панас поучается грамоте, и не без гордости добавил, что дело это идет как нельзя лучше.

— Вот еще выдумки!— сказала матушка.— Очень нужна ему эта грамота! Что он, с телятами, что ли,

по-книжному разговаривать станет?.. Чтобы этого впредь не было! Слышишь?.. Да тогда он совсем от рук отобьется! Очень нужны мне ученые работники.

И желая искоренить зло в самом корне, матушка отобрала книжку и торжественно предала ее огню. Таким образом это злонамеренное предприятие было своевременно пресечено, и ученость Панаса не пошла дальше складов.

Однажды, когда молодые друзья только что закончили игру в «лошадки», и Панас занялся вытиранием пота, обильно выступившего у него на лице, попович скорчил очень кислую мину.

— Знаешь что, Фанаська!—сказал он в высшей степени таинственно:—мне ужасно хочется курить.

— Как курить?—спросил Панас, совершенно пораженный этим сообщением.

— Курить!.. Папироску!.. Я уж два года курю! У нас в гимназии почти все курят... Когда приезжаю домой, бросаю, потому что папа считает это грехом, а мама не любит табачного запаха... Но теперь мне ужасно захотелось!.. Так, знаешь, что даже... тошнит!

И так как у него не было папирос, то он выпросил у матушки двугривенный на орехи и послал Панаса в лавку тихонько и незаметно купить табаку и бумаги, что Панас исполнил с свойственным ему искусством. Скоро попович и его научил курить. Они проделывали все это в конюшне. Но однажды их накрыл за этим занятием сам батюшка, и так

как расследование показало, что в лавку за табаком ходил Панас (это разъяснил лавочник), то отсюда последовал вывод, что инициатором был не кто иной, как Панас. Результатом расследования было то, что инициатора собственноручно выпорол сам батюшка, и замечательно, что Панас ни одним словом не выдал своего молодого господина. После этого Панас, как оказавшийся опасным развратителем, был отставлен от Алеши. Им уже было окончательно воспрещено ходить вместе и играть в «лошадки». Скоро попovich уехал в город.

VIII.

Панас получает сюрприз.

Пришла осень, а за нею и зима—холодная, бесснежная, обильная вьюгами. Панас, по роду своей деятельности, продолжал вертеться целые дни под открытым небом. Для него не существовало ни холода, ни вьюг, и только когда наступала ночь, он находил убежище в конюшне, под теплым кожухом Степки. В эту зиму на селе появлялось как-то особенно много нищих. Оборванные, дрожащие, полуокоченелые и голодные, — они терпеливо стояли у ворот с протянутыми вперед полуобнаженными, костлявыми руками, пока им не выносили краюху хлеба. Эту обязанность часто исполнял Панас, и когда он видел этих несчастных, ему вспоминалась

мамкина трущоба, с ее холодом и голодом; тогда он мысленно благодарил небо за то, что у него есть и хлеб и тепло, и в эти дни работал с большей энергией.

Однажды, когда, после снежной вьюги, вся дворня с лопатами в руках занялась расчисткой снега, а матушка тут же давала необходимые указания, — калитка медленно отворилась, и во двор вошла нищая. Ее полусогнутое туловище было облечено в такие прозрачные рубища, каких обитатели матушкиного двора в жизни своей еще не видали. Она протянула руки и слабым голосом просила хлеба. Панас сбегал в кухню и принес ей краюху. Но в тот самый момент, когда он подавал ей хлеб, женщина взглянула на него. Панас чуть не уронил свою ношу.

— Мамка!—крикнул он на весь двор и вдруг залился неудержимым плачем.

Он страшно испугался. Ему показалось, что мамка встала из гроба и пришла, чтобы взять его с собой в могилу, которая еще теснее и холоднее ее прежней трущобы. Все обступили его и нищую.

— Это твоя мамка?—спросила матушка.

— Мамка,—отвечал Панас, напрасно стараясь удержать слезы.

— Господи ты боже мой,—заговорила нищая. — Вот привелось-таки... А я уже думала, что его и на свете нет... Добрые люди, добрые люди... У кого же это тебя господь пристроил?..

— У матушки,— вот! — промолвил Панас, указывая глазами на матушку.

Тогда нищая бросилась к ногам матушки, обняла ее колени и целовала ее башмаки.

— Благодареньница... Спасительница... Благодареньница... — шептала она, и руки ее дрожали от холода.

Этот неожиданный маневр сначала испугал матушку, а потом растрогал. Матушка была очень падка на благодарность. Едва ли что-нибудь другое могло так размягчить ее сердце, как униженное признание ее благодеяний.

— Поди на кухню, милая, отогрейся, — сказала матушка, делая вид, что старается приподнять Панасову мамку.

Ее отвели на кухню и посадили на лавку. Панас теперь уже ясно представлял, в чем дело: мамка не умерла, она просто нищенствует и случайно забрела в Панычево. Но он никогда прежде не видел мамку в таком ужасном положении. Когда он с ней расстался, она была страшно худа, и ему казалось, что человек не может уже более похудеть, а теперь он видит ее вдвое похудевшей. Он никогда не был к ней привязан, а между тем теперь не может смотреть на нее без слез: у него до боли сжимается сердце и слезы текут неудержимо.

— Она, должно быть, голодна, как собака! — сообщила Маланья.

Перед ней поставили миску с борщом. Все с ужасом смотрели, как жадно она поглощала ложку за ложкой, как горели при этом ее глаза и дрожали руки. Еще бы! Сегодня третий день, как у нее не было во рту ни крошки хлеба. Вьюга сбила ее с пути и задержала где-то в камышах. Она слышала вой волков и молилась о своей грешной душе, уверенная, что больше уже не увидит людей.

Матушка прислала ей свое старое платье, платок и башмаки. Она переоделась.

— Пусть она выспится!—приказала матушка, и ее отвели в маленькую комнату рядом с кухней. В этой комнатке зимой помещались гуси и индейки, а иногда телята и поросята, если им приходилось в это время появляться на свет. Здесь, около печки, разостлали рядно, и Панасова мать улеглась на покой. Она заснула в ту же минуту, несмотря на свирепый крик гусей и поросят. Ее оставили одну. Панас мало-по-малу успокоился и перестал плакать.

В этот день обращение матушки с Панасом странно изменилось. Она сделалась мягче, снисходительнее; отдавала ему приказания голосом умеренным, в котором не слышалось прежнего раздражения, прежней обиды. Что повлияло так на матушку? Растрогал ли ее вид этой несчастной женщины, или неудержимые рыдания Панаса?.. У матушки в сущности было не злое сердце, и ее нетрудно было растрогать. Она облакалась суровостью только в отно-

шении прислуги, потому что у нее на этот счет были крутые принципы. Может быть, перемена с ней произошла и оттого, что Панасу, на которого все смотрели как на беззащитного, как на такого, за которого в целом мире некому вступить, — судьба вдруг послала защитницу... Хоть и нищая, а все-таки мать. Кто может помешать ей подставить свою грудь, когда в сторону Панаса направится удар, сказать горькое слово упрека, когда на его долю выпадет обида? Разве она не имеет власти взять его за руку и увести с собой в бесконечные странствования?.. В глубине же души матушка сознавала, что Панас сделался для нее почти необходимым, что уйди он — хозяйство ее потерпит явный ущерб.

Параска проснулась только на третий день к вечеру. Все были уверены, что она «замирала» и душа ее побывала на том свете. Она ужасно удивилась, увидев себя окруженной толпой баб. На расспросы, что она видела на том свете, она не могла дать определенных ответов. Видела она вьюгу, снежные сугробы, слышала волчий вой, и все в таком роде.

Как-то уж само собой вышло, что Параска осталась жить у матушки. Никто не напоминал ей о том, что надо собираться в дорогу, она же сама не находила никаких поводов спешить.

— Пускай отъездается! — говорила матушка.

— Бог припомнит это в день страшного суда! — повторял в свою очередь батюшка.

И Параска действительно отъедалась. В две недели она уже перестала походить на то страшное чудовище, которое Панас принял за мертвеца, вставшего из могилы. Она как-то очень быстро ознакомилась с порядками, господствовавшими в доме матушки, и умела сделаться полезной. Всюду для нее находилась работа. То в погребе что-нибудь переставит, и глядишь—так именно и следует; то в кухне устроит какое-нибудь нововведение—и опять же как нельзя более кстати. Главное же—ее видели постоянно занятой; хоть над пустяком каким-нибудь, хоть гвоздь в стену вколачивает, а все-таки занята. Очевидно, такая уж натура дельная.

Этим способом Параска овладела сердцем матушки. А тут, кстати, Маланья нашла, что уже достаточно отблагодарила батюшку за изгнание беса, и объявила, что соскучилась за «чоловиком». Ее отпустили с миром, а на ее месте, как и следовало ожидать, водворилась Параска. С этих пор положение Панаса несколько изменилось. Начать с того, что он ел нисколько не хуже, чем батюшка с матушкой. Во время возни своей с курами и телятами он находил достаточно поводов часто забежать в кухню. А тут уже были наготове — либо жирный кусочек мяса, либо свеже-испеченный пирожок, либо лакомство с господского стола. Все кухонные обеды удивлялись, что Панас, который прежде так образцово ел, потерял всякий аппетит, а за

обедом едва прикоснулся к пище. Другая перемена состояла в том, что Параска иногда брала его на ночь к себе, и тогда он спал на печке, где уж не мог жаловаться на холод. В такие ночи она рассказывала ему о своих скитаниях по божьему свету, о своих муках и обидах, которые она претерпела от людей. Эти рассказы были чувствительны и правдивы; они не раз заставляли Панаса проливать слезы. Эти-то ночи незаметно сблизили его с Параской, и он, кажется, впервые почувствовал, что мамка для него кое-что значит, и какова она ни на есть, а ближе, роднее, чем она, нет у него существа на свете. И он подумал, что теперь уж он ни за что не расстался бы с нею.

Перемена произошла и в том отношении, что матушка стала как будто скупиться на тумачи и дранье за чуб и за уши и прибегала к ним только в крайних случаях. Может быть, кроме присутствия Параски, причиной этой перемены было одно открытие, которое всех очень удивило.

Дело в том, что Панас оставался почти таким же маленьким, каким был выгашен из проруби. Когда возникал вопрос о его летах, самое большее, что давали ему, — лет двенадцать. Но Параска заявила, что, насколько ей не изменяет память, Панас уж по крайней мере четырнадцатый, а то и пятнадцатый год вкушает сладости жизни.

— Эге! Да он уже скоро будет парнем! — сказали все.

— Он, должно быть, сразу вырастет, в одну неделю. Это бывает! Сначала отъестся, как следует, а там и расти начнет! А то ему и расти-то было не из чего!..

Параска совершенно раскаялась и уверяла батюшку, что ее прежняя греховная жизнь представляется ей смутным и отвратительным сном.

Она отговелась и открыла батюшке все свои грехи. Кроме того, узнали, что Панас — плод совершенно законного сожительства Параски с ее мужем, которого взяли в солдаты, да так и не возвратили Параске. Батюшка узнал даже, что обряд крещения над Панасом был совершен в церкви воздвижения, что на кладбище губернского города. А это было очень важное сведение, потому что оно открывало след к Панасовым документам.

IX.

Повышение.

В тот год была хорошая весна. К концу зимы выпало много снега, а теперь он растаял и увлажил землю, и поля покрылись зеленым ковром. Панычевцы с веселыми лицами выезжали в поле и звонко посвистывали, шествуя позади своих первобытных плугов. Повсюду высказывалась надежда на урожай.

В это время Панасу показалось, что мамка как будто обленилась. Она уже не проявляла прежней

энергии к работе и даже заметно худела с каждым днем. Это не ускользнуло от внимания матушки.

— Что-то затевается недоброе! — говорила сама себе матушка. — Не я буду, если ей опять не захотелось на волю!

И она стала зорко следить за поведением Параски. Она не уследила только за одним: что в эти дни Параска проявляла особенную нежность к своему Панасу. Чуть выпадет свободная минута, глядишь — она зазовет его в кухню и расчесет ему голову, либо просто прижмет к себе и поцелует. Потроха (когда к обеду готовилась птица) совсем исчезли на господском столе, несмотря на то, что батюшка был большой охотник до куриного пупа. Их заблаговременно истреблял Панас, а Параска докладывала матушке, что «их слопала проклятая кошка».

— Затевается, затевается! — повторяла матушка.

В одно раннее весеннее утро оказалось, что матушка была права. Параска исчезла, и никто не мог сказать — в какое время и куда. Во дворе поднялась страшная возня, и при этом обнаружилось ужасные вещи. Из погреба исчез большой кусок окорока; недосчитали трех серебряных ложек; бесследно пропал матушкин шерстяной платок. Матушка была вне себя от бешенства.

— Га! Разве я не говорила? Разве я не предсказывала? — кричала она на весь двор, так что слышно было в церковной ограде. — Да это уж такая воров-

ская семья. Она, должно-быть, давно уже таскала по мере жита, да передавала своим солдатам. Жди от них благодарности. Я ее отогрела, откормила, разъелась она на моих хлебах, как свинья, — и вот благодарность. А вы думаете, Панас этого не знал? О, да он-то, я думаю, и помогал ей!—Куда ушла мамка? Говори, куда ушла мамка?

Эти вопросы сопровождались внушительными тумаками. Панас не знал, куда ушла мамка. О, если бы он знал это, разве он не ушел бы вместе с нею? Пускай ему пришлось бы голодать, нищенствовать, — по крайней мере, он знал бы, что делает это для мамки. Он чувствовал себя несчастным, покинутым, и никогда еще матушкин дом не казался ему до такой степени чужим, как в эти минуты. Зачем мамка покинула его? Она хотела, чтоб ему было лучше, она не решилась заставить его голодать с собою. А самой ей захотелось воли, разгула, той самой греховной жизни, в которой она раскаялась перед батюшкой. Панас почти не чувствовал ударов, сыпавшихся на него от матушкиной руки. В глубине души своей он ощущал гораздо более глубокое горе.

Положение его вдруг переменялось. У него даже отняли прежнее имя, и презрительное «Фанаська» должно было показаться ему очень почетным, потому что его стали называть просто «воришкой». И главное — его презирали все, не исключая дурака-Степки и даже Улиты, новой кухарки, которая только по

рассказам знала эту историю. Из всей матушкиной дворни одна только Сонька оказывала ему расположение. Она значительно подросла и похудела. Матушкины побои уже не заставляли ее плакать, зато они всякий раз вызывали в ее глазах злобещий блеск. Матушка заметила это и стала побаиваться беды.

— Ей ничего не стоит поджечь дом, — рассуждала она.

Сонька, между тем, частехонько заглядывала в конюшню. Здесь она садилась рядом с Панасом и изливала ему всю желчь, которая накопилась у нее на сердце.

— Знаешь, Панас, — шопотом сообщала она ему: — не выживу я тут долго... Иной раз такая тоска заберет, что, кажется, ушла бы, куда глаза глядят... А то бы хоть и в колодец, вниз головой... Вот бы взбесилась ведьма-то моя! Нет, я хотела бы повеситься у нее в спальне, перед ее носом.

Панас, между тем, оправдывал предсказания насчет его роста и начал быстро подрастать. К началу лета он уже почти догнал Степку.

— Ишь, как его выгнало! — говорила матушка. — Небось, на мамкиных хлебах на всю жизнь остался бы карликом.

Это обстоятельство сделало возможным взвалить на Панаса все обязанности работника, тем более, что Степка нашел где-то на хуторах такую же дуру, как был сам, и они решили пожениться. Как ни отго-

варивал его багюшка доводами и от разума и от писания, он ушел—и действительно женился.

Панас с этого же времени сделался настоящим работником, и тут матушка увидела, какая разница между ним и Степкой. В конюшне у него была отменная чистота: лошади всегда сыты и во-время напоены; двор выметен еще тогда, когда матушка лежала в постели; экипаж вымыт; ворота починены; словом,—на всем появилась печать энергичной и умелой Панасовой руки. Панас носил в душе своей стремление к деятельности. Как только он почувствовал себя главным работником, он не мог удержаться, чтобы не внести всюду своей поправки. Он скорее был польщен этим повышением, чем огорчен прибавкой работы. Да и очень нравилось ему это полновластное распоряжение конюшней и амбарами.

В ночную пору он разляжется себе среди города на высокой перине из свежего сена, а вокруг него целая стая огромных дворовых собак, под предводительством его лучшего друга Барбоса, которого на ночь спускали с цепи. Они своими горячими языками лижут руки и лицо Панаса и готовы по одному его слову кинуться на первого встречного и разорвать его на части. В эту минуту Панас чувствовал себя царем. На него теперь смотрели уже как на взрослого, как на парня. Он не мог не поддаться тому тщеславному увлечению, которое всегда свойственно детям, поставленным в положение взрослых людей, и захотел до-

казать, что он в самом деле парень сильный, умелый, который ни перед чем не спасует. В это лето он выучился косить и не уступал в этом искусстве любому хозяину. Когда приехал Алеша, все такой же маленький и низенький, как прежде, Панас отнесся к нему покровительственно. У них теперь не было ничего общего.

Матушка не могла нарадоваться на своего нового работника. Она уже давно перестала называть его воришкой, а совершенно напротив, всем говорила, что Панас (теперь уже его нельзя было называть Фанаськой) «золотой человек».

Панас часто думал о Параске и все надеялся, что она вернется. Но прошла новая зима, новое лето, и все осталось по-старому. О Параске не было никаких слухов.

X.

Степанида Ковалиха.

Был в Панычеве кузнец — Евстафий Коваль, и не было человека в селе или окружных хуторах, которому он не сковал бы какой-нибудь железной штуки для хозяйства. Он и прозывался Ковалем потому, что был им от рождения. И дед его и батько занимались кузнечеством, да и его научили этому ремеслу. И был Евстафий здоровый парень, с крепкими мускулами, с высокими плечами и здоровою, широкою грудью. Зато ему и жинка досталась такая, какой

ни у кого не было во всем Панычеве. Степанидой звали ее, а сам Коваль называл ее Стешей. Румяная, круглолицая да чернобровая; глаза — как две звезды, да еще самые яркие, что горят на темном небе в летнюю ночь, когда не бывает месяца.

Но взяли Евстафия в солдаты, да так с тех пор его и не видно. И куда только они девают людей, господи ты боже мой?.. Уже и пора бы ему, кажется, вернуться к своей Степаниде: семь лет прошло с тех пор, как Панычево осталось без Ковалья, — нет, не идет.

«Что-то там кует он теперь, на чужой стороне? — думает горькую думу Степанида. — Может, уже выковал себе гроб, а может и другую жинку?!..»

Развалилась Евстафьева кузница, засорились мехи, которыми раздувал он огонь, устало ждать сердце Степаниды, утомилось оно в одиночестве, в опустевшей хате, в бедности, в поденной работе... Не выйди ни на улицу в праздник, когда парни и девки весело перебрасываются шутками, ни на вечерницу, где поют они песни и переглядываются долгими, многозначительными взглядами!.. Покажись только там Степанида, сейчас по всему селу пойдет худая слава... И чего только тогда не наскажут о ней, боже! . А придет Евстафий, все ему передадут... все, чего и не бывало. Что тогда будет?

Хата Степаниды стояла на пригорке особняком, потому что при ней была кузница. Мимо нее шла дорога, по которой панычевцы ездили, когда большая

улица превращалась в озеро грязи. Этой дорогой ходил и Панас и часто поглядывал на окно Степанидиной хаты, и тогда казалось ему, что у окна торчит голова и чьи-то блестящие глаза провожают его.

Когда она работала у батюшки поденно, ему случалось перекидываться с нею двумя-тремя словами. Да и о чем он станет говорить с нею? Что он против нее? Ему всего каких-нибудь лет семнадцать, а ей уже до тридцати добирается. Он и называл ее не иначе, как «теткой».

В последнее время он заметил, что она стала довольно часто просить его принести воды и чаще приходиться на город за соломой, и уже не пропустит случая, чтобы назвать его чернобровым. А главное— глаза у нее в это время... Ох, что за глаза! Так и прожигают тебя насквозь. Нет, она не то, что всякая другая баба, до которой Панасу нет никакого дела. В ней есть что-то такое, от чего у него в глазах темнеет.

Вот тебе и тетка!.. Ну, сравнить ее хоть бы с Сонькой. Ведь эта Сонька (чортова девка эта Сонька: еще не выросла как следует, а уж поди, какие штуки выделывает и какие слова говорит) придет к нему в конюшню (да еще не когда-нибудь, а именно поздним вечером, когда все уже улягутся спать), присядет рядом с ним и обнимает, да еще прижимается. Говорит, говорит (ну, что она там говорит?— все больше про матушку, что она—ведьма), а там и умолкнет и спать

не хочет, проклятая, даром что набегается за день. А ему—ничего; как будто и нет ее тут. Степанида нет. Степанида только слово скажет, да глазами вскинет, а у него уж дрожь по телу пробежала.

Как-то раз он проходил мимо ее хаты. Она стояла на пороге и тихонько что-то напевала.

— Холодно, тетка Степанида?—сказал Панас, и голос его дрожал. А Степанида стояла перед ним и молча глядела на него. Ему показалось, что у нее было печальное лицо и в глазах как будто стояли слезы.

«Должно быть, ей дуже плохо живется!»—подумал Панас, и ему стало так жалко Степаниду, как жалел он разве одну мамку, когда вспоминал о ее скитаниях.

— Ты — сирота? — спросила она.

— Сирота, — отвечал Панас.

И она опять долго глядела на него молча.

— А ты знаешь, парень, что я мужняя жена?—опять проговорила она.

«Зачем она говорит это?»—подумал Панас.

— А что, как увидит тебя тут, у моей хаты, которая-нибудь баба, да в позднюю пору?

А глаза ее в это время впились в него. Страсть, которая в них искрилась, передавалась Панасу, и ему показалось, точно какая-то горячая струя пробежала у него по телу.

«Уйду лучше!»—подумал он, потому что руки его

дрожали и, казалось, против его воли готовы были протянуться к ней.

— Ну, так прощай!—промолвил он и почти бегом пустился по широкой дороге.

Он слышал, как с шумом захлопнулась дверь.

После этого он долго не видел Степаниды. Как будто нарочно она и к батюшке не приходила, а между тем его тянуло к ней.

«Что она подумала тогда?—размышлял он иногда—И зачем я убежал, словно глупый мальчишка?» И ему казалось, что этим бегством он унизил себя, и она, пожалуй, теперь смеется над ним.

К концу зимы она пришла к батюшке стирать. Они встретились на току, но он глядел на нее молча и не мог проговорить ни слова.

— Эх, парень,—промолвила Степанида, и в этих словах Панасу послышалась насмешка.

— А что?—спросил он.

— Что же ты не утекаешь?.. Я думала, что ты всегда так!.. Ха-ха!

«О, да она взаправду смеется!»—подумал Панас.

— А может и не всегда,—не без лукавства сказал он и при этом молодецки поправил свою шапку.

— Побачим!—донеслось до него издали, так как Степанида ускорила шаги и была уже далеко.

— Побачим!—повторил Панас и долгим взглядом измерил расстояние от батюшкиного тока до ее хаты.

С этой минуты он уже принял твердое решение.

Что сказала бы матушка, если бы узнала, что в эту ночь конюшня была заперта извне, а в ней не было никого, кроме тройки лошадей, которые, впрочем, жевали сено так же сосредоточенно, как и в прежние ночи?

Она, конечно, перевернула бы весь дом, собрала бы всех соседей и объявила бы им, что Панас увез у нее пять мешков пшеницы и многое другое. Но матушка этого не знала, и потому все обошлось благополучно, тем более, что Панас вернулся домой раньше, чем на небе начали бледнеть звезды.

XI.

Подарки.

Матушка всегда держалась того мнения, что за верную и старательную службу следует награждать. Она была настолько беспристрастна, что не могла не видеть ту заботливость, с которой Панас относился к ее хозяйству.

Она решила достойно наградить Панаса и по этому вопросу имела предварительный разговор с о. Макарием. Потом за Панасом была послана Сонька.

И вот Панас пришел в горницу. Он остановился у самого порога. Взор его упал на стол, покрытый белой скатертью, на которой красовался кипящий самовар, посуда, хлеб, половина жареного гуся, графинчик с водкой и рюмка.

— Вот, Афанасий... ты уже теперь приходишь в возраст,—так начал свою речь батюшка.—Ты вспомни, каким ты пришел к нам, и посмотри, какой ты теперь... Ты пришел в рубищах, голодный и хилый...

— Господи, да что это за несчастное создание было!—пояснила от себя матушка:—кажется, подуей только ветер, так тебя бы и не стало...

— Погоди, душа моя, ты не перебивай меня,—остановил ее о. Макарий, который имел в виду сказать настоящее «слово», и опять обратился к Панасу:—до этого ты жил в среде развращенной, но, видно, сам твой ангел-хранитель о тебе позаботился, когда направил твои стопы в наш дом. Теперь ты стал вполне человеком. Да, ты, Афанасий,—подобно той потерянной овце, которой пастырь радуется больше, чем девяносто девяти оставшимся,—радуешь нас своим исправлением... Ты не зарыл талант свой в землю... И вот за такое усердие...

Но матушка не уступила ему самого благодарного момента.

— Бычок, которого приведет весной бурая корова, пускай будет твой,—торжественно заявила матушка.—Да к этому еще батюшка купит тебе кожух и шапку... Я думаю также, что и чоботы ему следует купить. Как думаешь, отец Макарий?

— И чоботы я куплю!—ответил отец Макарий.—В понедельник поедешь со мной в город!

— Покорно благодарю!—сказал Панас и, как

водится в подобных трогательных случаях, поцеловал руку сначала у батюшки, а потом у матушки.

Он уже хотел уйти, но матушка взялась за графинчик и налила из него в рюмку.

— Вот выпей за то, чтобы бурая корова была здорова, а бычок был бы крупный да породистый!— сказала она и протянула к нему рюмку.

— За ваше здоровье,—сказал Панас, обращаясь к матушке, и, проглотив водку, скорчил невероятную гримасу. Это была первая рюмка, выпитая им, и надо сказать, что он ожидал от нее большего удовольствия.

— Ну, а теперь иди ужинать,—сказала ему матушка.

— Покорно благодарю!—еще раз поклонился Панас и вышел.

Во дворе он стал размышлять, что собственно подарили ему? Зиму он проходил без кожуха и без теплой шапки, а на весну ему дарят то и другое, затем рюмка водки, а ко всему этому—бычок, которого еще на свете нет!.. Вот так подарки!

В понедельник поехали в город. Панасу хорошо были знакомы грязные улицы губернского города. По этой грязи в былое время он часто бегал вслед за каким-нибудь пешеходом, прося милостыню, пока не замечал где-нибудь вдали городского. Тогда он убегал и прятался между двух деревянных будок, в которых евреи вели свою торговлю галантерейными товарами.

Когда они подъехали к лавке, где продавалось готовое платье, Панас вместе с батюшкой пошел в лавку и примерил кожух и шапку. Батюшка, разумеется, отрекомендовал его торговцам.

— Это мой воспитанник! — сказал он. — Мы его подобрали на улице, когда он был еще маленьким. Теперь, как видите, он вырос... Сирота!.. Мать его пьяница, обокрала нас... Развратная женщина!..

Это объяснение Панас получил в придачу к кожуху, который пришлось свернуть и положить в бричку, потому что на дворе стояла весна. Шапку он тем не менее надел, потому что кэпи слишком уже мало ему нравилась. Потом они пошли в другую лавку, где Панас выбрал себе чоботы. Батюшка и здесь не оставил его в неизвестности. Пока он примерял сапоги, до него доносились с другого конца лавки отрывочные фразы: «Его вытащили из пр. рубли... Она унесла полдюжины ложек серебряных...» И все в таком же роде. Очевидно, отец Макарий хорошо усвоил себе то, что так часто повторяла матушка.

О. Макарий вручил Панасу монету — пятнадцать копеек, присовокупив: «купи себе связку бубликов и ешь на здоровье». Несмотря на то, что число лет, которые Панас прожил на свете, превышало на два цифру, обозначенную на вышеупомянутой монете, — тем не менее он в первый раз в жизни обладал такой значительной суммой. Он купил на пятачок

бубликов, а оставшийся гривенник положил в жилетный карман.

Поехали обратно. Уже вечерело. Заходящее солнце обливало красноватым светом гладкую, бесконечную степь, на которой там и сям показалась уже ранняя зелень. В трех верстах от города широкая дорога пересекалась балкой, которая тянулась на расстоянии нескольких верст и, густо усаженная садами, казалась благодатным оазисом среди гладкой равнины полей. На этой балке, в том месте, где она пересекала дорогу, торчало покосившееся на бок строение с реденькой крышей и с вывеской: «Распивочно и на вынос». Неподалеку от трактира, почти у самого колодца, всегда сидел какой-нибудь седобородый слепец, читавший наизусть и выкрикивавший во все горло целые кафизмы из псалтыря, или женщина с изувеченными ногами, которые она старалась выставить на вид, чтобы этим тронуть сердца проезжих. Проезжие изредка останавливались и клали копейки в небольшие деревянные посудины, которые были в руках у нищих. Отец Макарий всякий раз на обратном пути из города останавливался на этом месте и посылал кучера с подаванием. На этот раз он вручил Панасу пятак, и когда тот приблизился к женщине, протянувшей к нему руку, он онемел от изумления, потому что в этой женщине он узнал свою мамку Параску.

— Молчи!—чуть слышно проговорила Параска.— Я на старом месте.

Панас машинально вынул из кармана свой гривенник и присоединил его к батюшкиному пятаку. У него дрожали руки. Ему хотелось расспросить Параску о ее жить-бытье, но он понимал, что нужно молчать.

— Я приду!—прошептал он и, кинув глубокий, выразительный взгляд на Параску, быстро повернулся к бричке.

Все это произошло моментально, и батюшка, конечно, не подозревал, что происходило в душе Панаса, когда он, тряхнув своей новой шапкой, натянул вожжи и крикнул лошадям:

— Гей-гей! Чего заснули?—и при этом пронзительно свистнул.

ХII.

Старые друзья.

В эту ночь глупые кони, конечно, не подозревали, какая работа происходила в двух шагах от них, в голове Панаса. Эта образцовая, но сильно запущенная мастерская получила заказ на разрешение некоторых немаловажных вопросов.

Вопрос первый: «каким образом уйти?» — разрешался очень просто. Запереть конюшню извне и отправиться, а к утру возвратиться. Вопрос второй: «с чем пойти?» — получал менее благоприятное решение, потому что нельзя же было считать благоприятным такой, например, ответ: «с пустыми руками»,

или в таком роде: «с теплым словом». А Панасу приходили в голову именно такие ответы. Это значит—прийти к мамке, полюбоваться на то, как она голодает, и уйти назад. Этак лучше не ходить. Попросить у матушки? Сказать: для мамки, мол, мамка нашла. Так она ее сейчас к суду притянет: «давай ложки»—скажет, и все другое. Но ведь он, кажется, заработал же что-нибудь? Слава тебе господи, день и ночь топчется и из этого толк выходит...

Ничего не придумал Панас, чтобы ответить на свой трудный вопрос, даром что целую ночь работала его голова. В эту ночь напрасно чуть не до света в хате Степаниды горел тусклый огонек. Дверь ее хаты ни разу не скрипнула, и в нее не вошел тот желанный гость, которого там ждали. До того ли ему было, чтобы возиться с бабами, когда у него в голове царил образ мамки и решение во что бы то ни стало сделать так, чтобы мамка перестала нищенствовать. Надо же ей когда-нибудь успокоиться. Уже и старость подходит. Что же он за сын, коли не может прокормить своей мамки, которая у него одна. А еще парнем называется!..

В этот день Панас обнаружил страшную неблагодарность и крайнюю загрубелость чувств. Он совсем не был любезен с матушкой, которая пришла будить его по обыкновению в четвертом часу, с фонарем в руках. Она была предупредительна, говорила с такой мягкостью, с такой, можно сказать, материнской

ласковостью, что другой на месте Панаса считал бы себя в это утро счастливейшим человеком в мире.

— Ну, что, Панасушка, не пора ли коней напоить?—нежно раздавался голос матушки, насколько, разумеется, ему была доступна нежность.

«Панасушка... Фью-у, до чего дошло». Да после этого Панасу следовало схватиться, кинуться к матушке и излить перед нею свою благодарность за кожух, шапку и чоботы, так как вчера он не успел этого сделать. Панас же медленно поднялся, почесал затылок и посмотрел на матушку таким мрачным взглядом, как будто матушка обидела его. А о благодарности даже и не подумал.

— Ну, что—хорошо пришелся кожух?—спрашивала матушка, желая навести его на истинный путь.

— Н-ничего, хорошо,—сурово ответил Панас, надевая уздечку на морду гнедого коня.

— А шапка и чоботы?..

— Пришлись,—нисколько не любезнее ответил Панас, и ни слова благодарности.

Матушка было вскипела, но удержалась и не сказала ни слова.

«Что-то есть, что-то есть,—мысленно повторяла она.—Надо держать ухо востро».

Панас же повел коней на водопой.

Когда Панас возвращался с водопоя, сидя на гнедом коне с видом человека, которого посадили туда ради наказания, его вдруг осенила мысль.

«А кожух?—неожиданно воскликнул он.—На кой чорт он мне? Что я буду делать с ним весну и лето? А до зимы еще, бог знает, может Панас наймется куда-нибудь в работники да и заработает кожух».

И он так хватил гнедого коня обеими ногами, обутыми в новые чоботы, что тот подскочил на месте. Когда он на всем скаку въезжал в ворота поповского дома, у него было веселое лицо, и он чуть не вслух произнес:

— Отнесу мамке кожух, а за него дадут хорошие гроши...

Никогда еще работа не казалась ему до такой степени противной, как в этот день. Просто руки не поднимались ни на какое дело, точно всякий раз его останавливала мысль: «На кой чорт оно мне. Все одно, мне от этого никакого проку не будет... мамке не понесешь». И батюшкины кони имели полное право негодовать на Панаса, потому что он забывал подкладывать им сена. Он даже решился уйти со двора, и с этою целью доложил матушке, что у него болит голова, и что поэтому ему необходимо пойти к фельдшеру. Напрасно матушка настаивала на том, чтоб он воспользовался ее собственным рецептом и, обвязав голову мокрым платком, приложил к вискам по соленому огурцу.

— Нет, уж я схожу до фершала,—оказывал непокорность Панас.—Это у меня кровь... Я знаю... Может, надо кровь пустить.

И несмотря на то, что матушка прямо запретила ему делать это, он пошел-таки, только, разумеется, не к фельдшеру. Ему решительно было все равно, куда ни пойти, лишь бы отвильнуть от работы. Но когда он вышел из ворот, его как бы потянуло в ту сторону, где стояла хата Еремы. Давно уж он не видел их всех, и вот почему-то захотелось проведать их.

У Еремы все было по-старому. Перемена состояла разве в том только, что наследник Еремы, который когда-то лежал в люльке, и которому маленькая Горпина пела колыбельную песенку (славная то была песенка,—вспоминал о ней Панас), теперь бегал по хате в одной сорочке и босой, а на руках у Марины лежал новый претендент на Еремино имущество; да в том еще, может быть, что сама Марина куда как постарела и сморщилась. Остальных детей не было в хате, а Горпина ушла по воду. Пошли долгие разговоры, которые внесли какую-то теплую струю в сердце Панаса. Разговоры были невеселые. Марина жаловалась (у ней лопнуло терпение, и в последнее время она стала жаловаться) на горькое житье, на непосильную работу, на боль в пояснице. Жаловался и Ерема, да и Панас не отставал от них. И несмотря на такие печальные темы, Панасу хотелось долго, долго сидеть и слушать жалобы этих простых и добрых людей.

В хату вошла Горпина. Да, ей немного недоста-

вало, чтобы выйти из подростков. Руки ее уже были украшены мозолями, и на лице ее (оно осталось все таким же маленьким и круглым) уже появилось выражение серьезной деловитости.

— Вот ни за что не узнаешь, Горпина, что за парень у нас сидит!—обратилась к ней Марина.

Горпина недолго всматривалась в парня.

— Ох, ты, господи! Да это ж Панас,—проговорила она, всплеснув руками, и почему-то покраснела.

А Панас долго смотрел ей в лицо, как будто навсегда хотел запечатлеть ее черты. У нее были ровные черные брови, и большие ресницы окружали ее темные глаза. Эти глаза понравились Панасу: они смотрели на него прямо, так же просто и с такой же добротой, как в тот день, когда он рассказал ей свою маленькую историю и она сказала ему: «ты бедный хлопец». И почему-то вспомнились ему другие глаза, которые смотрят на него тоже прямо, но не так, о, совсем не так. Эти смотрят лучше. От тех у него темнеет в очах и дрожь пробегает по телу, а эти... Такие глаза он видел в церкви на иконе, когда он говел в великом посту и усердно-преусердно молился.

Они стали припоминать тот день, когда Панаса вытащили из проруби, и когда он лежал на печке. Все припомнилось: и как он соскочил с печи и сказал: «я хлопец», и как ел, на печке лежа, и как Горпина пела свою песенку. Все, все вспомнилось, и

эти воспоминания как будто еще больше породнили его с Ереминой семьей. Эх, никогда бы не ушел из этой тесной хаты, да надо: матушка там, должно-быть, всеми чертами клянет его.

— Заходи же, Панас,—сказали ему хозяева, а Горпина не произнесла ни слова, но ее глаза сказали то же самое.

ХIII.

Первый шаг.

Что за чудная была ночь, когда Панас шел окольными тропинками, отыскивая полуразвалившийся приют своих первых дней. Луна серебрила окрестную равнину и светила так ярко, что можно было издали видеть верхушки церквей губернского города. Широкий Днепр тихо покоился в своем удобном, поместительном ложе, и на его поверхности только изредка там и сям появлялись капризные узоры зыби, свидетельствовавшие о том, что он не спит, а только дремлет и в дремоте продолжает свою вечную работу. Вот он извернулся красивой дугой и вместе с своими камышами и десятками узеньких притоков ушел куда-то в долину и словно спрятался под землю, а там, глядишь, он опять выползает и блещет, отражая в себе все небо.

Панас шагает быстро,—матушка научила его ходить. Еще бы ему медлить, когда нужно пройти верст с десяток да столько же обратно и притом —

вернуться к рассвету. Он даже не может идти по большой дороге, а должен пробираться окольным путем, потому что в эту ночь по дороге едут земляки на базар; они, конечно, узнают его и удивятся. Кожух он свой свернул и несет на плече. Сначала он было надел его, но от быстрой ходьбы стало жарко, и он распахнул даже ворот холщевой сорочки. Уже он прошел балку, на которой тогда встретился с мамкой; до города осталось версты три. Да ему и не нужно в город. Он повернул налево. Неподалеку от города раскинулась слобода; десятка три миниатюрных землянок лепились одна к другой, как будто собираясь общими силами защищаться от опасности, грозившей им со стороны города. Здесь ютилось беднейшее население и, как ходили слухи, эти места были не совсем безопасны для ночных прогулок мирных и обеспеченных граждан. При землянках не было ни дворов, ни огородов, ни построек, словно обитатели их приютились здесь не на всю жизнь, а лишь на несколько дней, готовые после отдыха подняться и отправиться в дальнейший путь.

Панас хорошо знал эти места. Они не напоминали ему ничего приятного. Здесь не было ни одного местечка, которое заставило бы его остановиться и предаться на минуту тому или другому отрадному воспоминанию. Здесь, в зимнюю пору, одетый в рубище, высматривал он виднеющиеся на большой дороге экипажи или повозки; здесь — в глубокой темноте

осенней ночи, под ветром и дождем, дрожа и плача, бегал он вокруг этих землянок, когда к мамке приходили солдаты и его выгоняли на улицу. В таком роде были все его воспоминания об этих прекрасных местах. У одной из землянок он остановился и постучал в окно. В этом окне не было стекол; вместо них была наклеена синяя толстая бумага. Панас, однако, мог разглядеть, что в хате зажгли огонь. Он подошел к двери и услышал шелест босых ног, ступавших по земляному полу.

— Кто там?

— Панас! — нетерпеливо ответил он, потому что то был голос Параски.

Ему отперли дверь. Перед ним стояла Параска в изодранной юбке, в сорочке, не ведавшей стирки, босая и с распущенными жиденькими волосами.

— Мамка! — взволнованным голосом произнес Панас и поцеловал ее в губы—тонкие, сморщенные, старческие губы, так как Параска казалась теперь совсем старухой, хотя ей не было еще пятидесяти лет.

Из сеней они вошли в хату. Панас окинул взглядом свое прежнее жилище и нашел, что оно мало изменилось. Пустая хата с низеньким потолком, с темным окном—без стекол, с холодной, полуразвалившейся печью, не знавшей, что такое огонь; никаких украшений, ничего такого, что хотя бы по случайному сходству могло бы назваться мебелью: ни стола, ни лавки, ни кровати. На земле (настоящей

сырой земле) была настлана солома, а на ней лежала женщина в лохмотьях и, повидимому, спала.

— А это кто? — спросил Панас, указывая на женщину.

— Это так себе... женщина — Фроська...—отвечала Параска.

И она не могла дать другого ответа, потому что личность, о которой шла речь, не имела никакого общественного положения. Это было такое же бездомное существо, как и она, жила тем же ремеслом и страдала тем же пороком, который обеим им давал возможность забывать об ужасной обстановке, который украшал и делал сколько-нибудь переносимым их жалкое существование и вместе с тем с каждым днем заставлял их опускаться все ниже и ниже.

Параска села на соломе, поставив посреди хаты свечку и протянув вперед полунагие, грязные и исцарапанные ноги. Она не выражала ни радости, ни волнения; лицо ее, казалось, утратило способность отражать на себе состояние ее духа. Панас стоял среди хаты, слегка наклонив голову, потому что она касалась потолка; он держал в руках свой кожух, которому было предназначено обрадовать Параску,— и молчал. Если бы его спросили, что он чувствовал в эти минуты, едва ли он был бы в состоянии дать ответ. Он видел только одно,—что мамка его валяется в грязи и сохнет от голода, холода и всякой нужды,

тогда как он, здоровый, молодой парень, в цвете сил, образцовый работник, надрывается для других и ничего не может сделать для нее. В груди его закипела злоба на все прошлое (он на него теперь оглянулся), которое он с таким рвением посвящал матушке, и оттого не стал ни на один грош богаче.

— Мамка, вот я принес вам кожух... Он новый... Вы его продайте...—как-то глухо произнес он, глядя в сторону, точно извиняясь перед Параской, что принес ей только кожух, а не теплую хату, в которой, как у добрых людей, стояли бы и лавки, и столы, и сундук с кое-каким добром, висели бы образа и картинки, в печи горел бы огонь, а на столе появилось бы варево.

— Спасибо, я продам!—ответила Параска.

У нее был хриплый голос, выдававший ее образ жизни. Панас поискал глазами, куда бы положить кожух, но, убедившись, что подходящего места нет, положил его в угол на землю. Он продолжал стоять молча, смутно сознавая, что молчать в этой обстановке будет самым приятным времяпрепровождением. О чем ни заговори—на все ответом будут самые горькие жалобы на бедность, на голод и холод.

— Мамка!—произнес он и вздрогнул, потому что голос его как-то дико, как в могиле, раздавался в пустой хате: —зачем вы тогда покинули меня?.. я пошел бы с вами...

Параска подняла на него глаза.

— А ты думал, что у твоей мамки на место сердца кусок гнилого дерева? а? — тихо захрипела Параска. — Разве я не знала, на какую жизнь иду? Так чтоб я и тебя взяла на эту муку — из теплой хаты да от готового хлеба... Я не гадюка какая-нибудь... А что я только вынесла и как жалела, что не сидела на месте!.. Не могла... Сил нехватило... Воли захотелось. Ох, воля, воля! То-то воля!

И она обвела глазами лачугу, которая олицетворяла собой эту волю. Потом она уже не могла удерживать потока слов. Мало-по-малу она оживлялась, голос ее словно вырастал, становился громче, крикливей; между слов чаще и чаще попадались ругательства, которые она произносила так же просто, как и прочие слова, не замечая между ними никакой разницы. Она бранила себя, бранила людей, бранила весь свет, потому что не могла найти настоящего виновника своего несчастья. Она говорила с пеной у рта, и, казалось, если бы у ее ног в эту минуту лежал ненавистный ей свет, она, не задумываясь, раздавила бы его ногой. Он, по ее мнению, стоил этого, потому что в нем нет ничего хорошего. Иногда в ее словах нельзя было найти смысла. Иногда она говорила о таких предметах, которых, повидимому, сама не знала, и в эту минуту она походила на сумасшедшую.

Дав ей полную волю высказать все, что накипело Панас, наконец, поднялся.

— Прощайте, мамка!

— Придешь? — спросила Параска, не вставая с соломы.

— Буду заглядывать... Только... мамка... вы его не пропейте...

— Кого это? — сердито спросила Параска.

— Кожух... А лучше хлеба прикупите...

— Ладно, — ответила Параска и крепко нахмурила брови. Последний совет Панаса, повидимому, очень не понравился ей.

Панас вышел в сени, потом на улицу.

Панас никогда не был чувствительным человеком, и никто не считал его таким. Но на этот раз рукав его сорочки оказался влажным, когда он провел им пониже лба. Он смотрел вперед, но не видел перед собой мамку — старую, изможденную, озлобленную до последней степени. Тут мало было для него нового. Эта лачуга с ее ужасной пустотой и сыростью, с ее холодными стенами и вечным голоданием — все это когда-то было его уделом; но теперь он смотрел на все это иначе. Если бы в эту минуту перед ним появилась матушка, он, кажется, прямо сказал бы ей:

— Отдай мне то, что я заработал. Неужели за четыре года дьявольского труда я не заслужил ничего лучшего, чем этот обещанный бычок и кожух?..

У него явилась мысль — бросить матушку и нагнаться куда-нибудь в работники. Но тут же возник вопрос — кто возьмет его? Кто не знает, что он

служит у матушки, что принят ею, как сирота—бездомный? Разве она не кричит всякому в уши, что благодетельствовала его, что мамка его обокрала ее? И всякий подумает (а она всякого в этом уверит), что он — злодей и ушел он от нее только потому, что похож на свою мамку. Но как бы там ни было, а Панас не может оставить дело так, как оно есть. Не может же он со спокойным сердцем глядеть, как мамка его задыхается в нищете, и в это время прилагать все старания к тому, чтобы матушкино добро увеличивалось, когда ему от этого никакого толка нет. Ну, если уйти нельзя, то он сделает так, что она его прогонит. О, пусть тогда говорит, что хочет. Все видели, как он работал, все будут видеть, как он, прогнанный, будет уходить с пустыми руками, и никто тогда не поверит ей, когда она будет говорить (а она непременно будет кричать это всем), что он обокрал ее. А чтоб она прогнала его, для этого немного нужно. Надо только взбесить ее—и он это сумеет сделать.

Бедные кони о. Макария! Как они фыркали в это утро, когда Панас гладил их бока железной щеткой и обмахивал метелкой, составленной из их собственных хвостов. Им было больно, но они, конечно, простили бы Панаса, если бы знали, что у него было на душе, тем более, что прежде они уже много раз видели доказательств того, что Панас желает им добра.
